

Многие литераторы в годы войны оказались на Алтае в эвакуации. Некоторые из них много позже написали мемуары, в которых нашлось место и воспоминаниям о жизни в Алтайском крае в военную пору. Эти книги, созданные в жанре «истории повседневности», интересны, прежде всего, как важные и ценные документы.

текст

ЕВГЕНИЙ
ПЛАТУНОВ

Алла Кторова о Барнауле 1943 года

В годы войны Виктория Кочурова оказалась с родными на Алтае. Ее воспоминания о жизни в эвакуации в Барнауле разбросаны по разным книгам и статьям. Барнаульцы имеют некоторое представление о жизни своего города в военные годы, однако любые новые свидетельства добавляют штрихи к известной картине, делая ее объемнее и подробнее, и потому весьма ценны. Мы приведем несколько абзацев из книг Кторовой, где упоминаются Алтай и Барнаул.

В своей книге «Пращуры и правнуки» Алла Кторова пишет: «Во время Отечественной войны, в 1943 году, я с матерью и бабушкой попала в город Барнаул, Алтайского края. Бабушка смертельно болела, мама день и ночь работала на текстильном Меланжевом комбинате, спала на полу у станка, ела «суп» с сухой коркой, падала от слабости, голодая... страшно вспомнить все это.

<...> Александра Львовна (младшая дочь Льва Толстого! — Е.П.) говорила, а я вспоминала, как во время Второй мировой войны, в Барнауле, я тогда подростком была, ездила и моя мать менять наши тряпки на еду в далекие алтайские села со смешными для меня тогда названиями, оканчивающимися на «иха» — Топчиха, Белокуриха, Кривулиха, и как мы с бабушкой всю ночь дрожали, казалось нам, что маму нашу убили, отняли старую простыню, что на «менку» была, а ее бросили под поезд. Воодушевленная моими воспоминаниями, Александра Львовна, улыбаясь, продолжала:

— Все тут было, и смех и горе».

Лишения детства многие из военного поколения своеобразно пытались в последующем заменить жаждой знаний, пытливыми исследованиями. Так случилось и с Викторией Ивановной. Она много лет занималась интересным направлением в филологии — ономастикой. Вот лишь одна из ее находок: «С детства меня влекла тема происхождения имен, фамилий и названий. То есть часть науки именологии, которая теперь называется ономастика, от греческого «онома», то есть «имя». С двухлетнего возраста я всегда спрашивала у взрослых, почему такого-то зовут так, а другого или другую эдак и что их имя и фамилия значит. В эмиграции я изучила много книг по ономастике, и опубликовала несколько статей, где рассказала о странных именах, запомнившихся мне еще при жизни в СССР. Очень скоро я стала членом Американского Ономастического Общества. Делала на собраниях этого общества доклады на английском языке и писала статьи. Было у меня несколько открытий, незнакомых в России. Например, когда наши соотечественники в России и в эмиграции говорили о Георгии Максимилиановиче Маленкове, то всегда путались с ударениями в фамилии, называя его то «Маленков», то «МалИнков». Даже крупные именоведы не провели работы, указывающей на то, что по своим корням «МаленкОв» был немцем, родившимся в Оренбурге, и настоящая его фамилия — Молленхофф, и тогда все становилось на место».

В книге «Сладостный дар, или Тайна имен и прозвищ» мы вновь встречаем упо-

Алла Кторова (29.12.1926, Москва) — известнейшая писательница русского зарубежья. Настоящее имя — Кочурова Виктория Ивановна. Литературный псевдоним скомбинирован из имен любимых актеров — Аллы Тарасовой и Анатолия Кторов. Отец — денкинский офицер, перешедший на сторону красных.

После школы поступила в Ленинградский театральный институт, который потом бросила. Виктория окончила английское отделение МГПИИЯ в 1954 году.

Работала переводчиком в бюро обслуживания иностранцев, школьным учителем английского.

В 1957 году вышла замуж за американца Джона Шандора, в 1958 году уехала в Америку.

Написала более двадцати книг. Антироман «Лицо Жар-Птицы» высоко оценил Александр Твардовский.

Преподавала русский язык в американских университетах.

Живет в штате Мэриленд.

минание об Алтае: «...не с курицей-птицей, а с фамилией Жени Ферлакуровой. С девочкой Женей задолго до своей сценической деятельности я дружила в юные годы в далеком городе Барнауле Алтайского края. Она была из когда-то сосланной в

Сибирь семьи французского происхождения, и я всегда наслаждалась какой-то нерусской аурой их домика и чистенькой бабушкой в черной наколке, которая по многу раз рассказывала мне, что расшифровывается это наследственное семейное

наименование исходя из французского «faire la soug», что по-русски означает «ухаживать за кем-либо».

Алла Кторова совершила очень интересные ономастические находки в родовом древе Пушкиных-Ганнибалов.

Эстер Гессен о Бийске 1943 года



Гессен Эстер Яковлевна (девичья фамилия Гольдберг) родилась в 1923 году в польском Белостоке. Накануне войны приехала в советскую Москву, поступила на филологию в ИФЛИ. В годы войны оказалась в Бийске. Больше сорока лет проработала в редакции «Советская литература на иностранных языках». Переводила с польского и на польский. В настоящее время живет в Израиле.

Бийск в военные годы.



В то время как в Барнауле жила в эвакуации будущая исследовательница генеалогии Пушкина, в Бийске в этом же 1943 году оказалась двадцатилетняя Эстер Гольдберг, бывшая жительница Белостока. В Бийске она познакомится со своим будущим мужем и войдет в семью известного пушкиниста Арнольда Гессена (он тоже жил в это время на Алтае). В 2014 году в Москве изданы мемуары Эстер Гессен «Белосток — Москва». Бийскому периоду в этой книге посвящено много страниц. С некоторыми из них мы предлагаем познакомиться нашим читателям.

«После нескольких месяцев жизни в Ашхабаде меня неожиданно вызвали в ректорат. Я пошла туда встревоженная, не понимая, зачем могла понадобиться, а там секретарша проверила мое имя, фамилию, год и месяц рождения, после чего вручила мне письмо от мамы. Мама, как оказалось, безуспешно разыскивала меня уже довольно долго — мой старый, известный ей адрес был давно недействителен, ИФЛИ перестал существовать, все ее письма оставались без ответа. И вдруг, совершенно случайно, какая-то эвакуированная в Бийск москвичка (мама расспрашивала всех, кто, как ей каза-

лось, мог что-нибудь знать) сказала, что ИФЛИ стал частью Московского университета, который будто бы эвакуировался в Ашхабад. Мама тут же написала ректору, умоляя его сообщить какие-нибудь сведения, и вот это письмо мне передала секретарша. Я была на седьмом небе. В тот же день отправила маме телеграмму, и между нами завязалась оживленная переписка — мы решали, кто к кому должен ехать, я к ней или она ко мне. Принимать решение надо было срочно, так как ходили упорные слухи, что на железной дороге вот-вот введут пропуска и нельзя будет никуда ехать без особого разрешения. Слухи эти действительно вскоре подтвердились, так что мама разыскала меня в самое время. Поначалу она склонялась к тому, чтобы приехать в Ашхабад, хотя ей было жаль покидать Бийск, где жило много бывших ссыльных из Польши, причем самыми многочисленными были две группы: из Белостока и из Томашова Любельского. Очевидно, именно из этих городов вывозили в свое время людей на Алтай. У мамы был там ряд старых знакомых, но она хотела, чтобы я продолжала учебу, и была готова с ними расстаться. Я колебалась и приняла окончательное решение, когда прочитала в очередном маминном письме, что наши земляки пока что в Бийске не голодают, поскольку на местном рынке можно довольно выгодно выменивать на картошку кое-что из одежды. Это положило конец моим раздумьям, ведь мы в Ашхабаде давно уже позабыли вкус картошки, и я в тот же день побежала за билетом. Подружки давно уже меня уговаривали поступить именно так. «Как ты можешь даже думать о том, чтобы везти сюда маму? — твердили они. — Ведь мы тут все вскоре с голоду подохнем». Очевидно, после моего отъезда руководство МГУ пришло к этому же выводу, так как через несколько месяцев университет сменил место эвакуации и перебрался в Свердловск (теперь — Екатеринбург), чтобы вернуться в Москву только в 1944 году.

<...>Наконец я добралась до Бийска. Этот город со стотысячным населением на реке Бии был конечной станцией, здесь железнодорожные пути обрывались.

И приходил туда всего один поезд в сутки. Мама, предупрежденная о моем приезде телеграммой, поджидала меня на вокзале ежедневно и в конце концов дождалась. Нашей радости не было предела. Мама снимала комнату в многоквартирном домике у местной семьи, то есть у матери с дочерью чуть моложе меня. Ее муж и сын были на фронте. Хозяйка по случаю моего приезда специально затопила русскую печь на кухне и нагрела мне воду для мытья. Это меня очень растрогало, поскольку мама уже успела мне рассказать, что с баней в городе плохо, работает всего одна, да и то не каждый день, и туда выстраиваются длинные очереди.

Пока я мылась, к маме то и дело забегали знакомые узнать, приехала ли я. Оказалось, что среди белосточан есть и мои сверстники, правда, из других гимназий, но я их помнила по довоенному времени. И в течение первых дней, когда нас без конца навещали люди, так сказать, из той жизни, у меня все время было ощущение, что вот, после долгого отсутствия я, наконец, вернулась домой. Неважно, что наше жилье было совершенно непохоже на белостокское; я была среди своих, с которыми меня связывали общие воспоминания и то, что нам нужно было столько рассказать друг другу. Белосточан в Бийске было несколько тысяч, поляков и евреев. В городе существовало официальное представительство польского эмигрантского правительства, старавшееся по мере возможности поддерживать и опекать бывших граждан Польши. Все эти люди, в том числе и моя мама, получили после амнистии временные удостоверения, в которых было сказано, что в будущем они подлежат обмену на польские паспорта.

Я была, пожалуй, единственной гражданкой бывшей Речи Посполитой, которая приехала в Бийск с обыкновенным советским паспортом. Неудивительно, что, когда я прописывалась (а без прописки нельзя было ни устроиться на работу, ни получить хлебные карточки), соответствующие органы обратили внимание на этот факт.

А пока я принялась за поиски работы. Речь могла идти только о физической работе, во-первых, потому что мой русский язык все еще оставлял желать лучшего, а во-вторых, то обстоятельство, что я была с оккупированной территории, к тому же из бывшей Польши, нацисто исключало возможность какого-либо умственного труда. Впрочем, меня это не слишком огорчало, поскольку рабочие получали по карточкам 800 граммов хлеба в день, а служащие — только 600. Эти 200 граммов имели для нас боль-

шое значение, так как мама, страдавшая ишемической болезнью сердца, была к физическому труду неспособна, а на умственный не могла рассчитывать по тем же причинам, что и я. К счастью, у нее была врачебная справка о болезни, и благодаря этому она все же получала по 400 граммов хлеба как иждивенка. А хлеб был тогда нашей основной едой. Ну и картошка, на которую мы выменивали понемногу привезенные из дома вещи. Увы, этих вещей было мало изначально, и их количество таяло с каждым днем. Словом, я согласилась на первую же предложенную мне работу и стала формовщицей на сталелитейном заводе, эвакуированном из города Николаева. Мы делали из песка и глины формы для литья. Работа была тяжелая, мы вкалывали по десять — двенадцать часов в сутки, как правило, без выходных. Поскольку я совершенно не владела этой профессией, то справлялась с трудом, и все отнимало у меня больше времени, чем у моих более опытных коллег. В нашем отделе литейного цеха трудились одни женщины, хотя это, в сущности, чисто мужская работа. Непосредственно литьем занимались мужчины, освобожденные от армии как незаменимые специалисты. Проработав так месяца три, я была совершенно без сил, но, к счастью, в это время один знакомый из Белостока, работавший на спиртоводочном заводе (мужчин из Польши в Красную армию, как правило, не призывали), устроил меня туда в цех розлива, где спиртное разливали по бутылкам. Я была в восторге. Во-первых, работа там была несравненно легче, чем формовка, во-вторых, смена длилась не больше десяти часов, а в-третьих, что самое главное, нам каждый месяц отпускали по государственной цене по два литра спирта-сырца, бывшего в ту пору в высшей степени конвертируемой валютой. Мы с мамой перестали голодать, она начала варить супы, а иногда даже покупала немного молока, которое колхозники продавали на рынке замороженным в лепешки.

За вынос с территории завода даже четвертинки водки людей приговаривали к многолетним срокам заключения (по указу о хищении государственного имущества), но в цеху разрешалось пить сколько душе угодно. Я была там самая молодая, пить не умела совсем, и весь цех забавлялся тем, что приучал меня к этому занятию. Поначалу я пыталась сопротивляться, но потом сдалась, чтобы не портить отношений с коллективом, и через какое-то время выпивала уже за смену не меньше чем пол-литра, закусывая в лучшем случае маленькой луковичкой или хлебной коркой. Остальные работники по-прежнему считали меня непьющей, потому что сами они выпивали за это же

время литра по два, по три, но лично я была вполне довольна своими успехами.

В нашем цехе не только разливали водку, но и мыли стеклотару, в связи с чем мы всю смену ходили по щиколотки в воде. У других работников была запасная обувь, которую они надевали, у меня же ее не было, и после смены я в совершенно мокрых ботинках выходила на, бывало, пятидесятиградусный мороз. И, к моему собственному изумлению, за все время работы на заводе я ни разу не простудилась. Этим я, несомненно, была обязана выпиваемой за смену водке, и не жалею, что ее пила. Правда, позднее в течение многих лет не раз случалось, что это мое умение пить ставило меня в очень неловкое положение. Иногда в интеллигентной компании я забывалась и начинала прикладываться к спиртному как на нашем бийском заводе, совершенно при этом не пьянея. У меня было два мужа (обоих уже нет в живых), первый воевал на фронте в действующей армии, второй — в партизанском отряде в Белоруссии, оба научились там неплохо выпивать, но опрокинут залпом стакан спирта, даже не поморщившись, умела только я, чем неизменно их поражала.

Решить проблему паспорта мне, по иронии судьбы, удалось благодаря конфликту между СССР и польским эмигрантным правительством. В связи с обнаружением немцами в Катynie, под Смоленском, захоронения нескольких тысяч расстрелянных польских офицеров и позицией советских властей, не признававших, что это дело рук НКВД, и утверждавших, что пленных офицеров казнили немцы, правительство генерала Сикорского в 1943 году прервало отношения с СССР. В результате в стране позакрывались все представительства этого правительства, а бывшим польским гражданам было велено обменять временные удостоверения на обычные советские паспорта. Тех, кто отказывался это сделать, а таких было большинство, потому что люди опасались лишиться таким образом возможности возвращения в Польшу после войны, арестовывали, судили и приговаривали к двум годам лишения свободы по статье 192 тогдашнего Уголовного кодекса — «за нарушение паспортного режима». Милиционеры ходили по домам и тех, у кого еще не было советских паспортов, увозили в тюрьму. Мама тоже слышать не хотела об обмене своего документа, и мы с ней решили, что поскольку мне все равно терять нечего, то я пойду в тюрьму вместе с ней. Так мы и сделали. Когда пришла милиция с проверкой, никто у нас старые документы не спрашивал, а новых не было ни у меня, ни у нее. И нас забрали. В тюрьме

нас разлучили и поместили в разных камерах. Да, я забыла отметить, что была в то время в очередной раз без работы, и Гуров явно не знал, что со мной в эти недели происходит. А происходило, и не только со мной, нечто совершенно невероятное. Оказалось, что власти, очевидно, не желая раздражать союзные правительства, были заинтересованы в том, чтобы бывшие польские граждане не сидели по тюрьмам и лагерям, а соглашались брать новые паспорта. И вот через пару недель в тюрьме появился бывший глава польского представительства. Он расположился в канцелярии, к нему по очереди приводили заключенных, и он их уговаривал не ломать себе жизнь и менять паспорта. Заверяя при этом, что такой шаг никак не повлияет на послевоенную репатриацию. И люди один за другим соглашались. В итоге со всего Бийска в тюрьме остались вроде бы всего две непреклонные семьи — одна польская и одна еврейская. Остальные поддались на уговоры. Когда один из членов семьи давал согласие, к нему приводили в канцелярию родственников из других камер, и он уже их убеждал сам. Так и меня вызвали для беседы с мамой, и мы обе подписали заявления о выдаче нам новых паспортов.

Когда я вернулась в камеру и рассказала, зачем меня вызывали, мои сокамерницы, большей частью воровки, успевшие уже украсть у меня все, что было возможно, хохотали до упаду. По их словам, о такой утопической ситуации, когда можно снисходительно сказать начальнику тюрьмы: «Будь по-вашему, гражданин начальник, уговорили, пойду домой», — мечтают заключенные всей страны. И никто не поверит, что подобное в самом деле происходило. А ведь происходило.

Вскоре после выхода из тюрьмы я познакомилась со своим будущим мужем Борисом Гессеном. Молодой московский инженер, он сразу же после защиты диплома в 1941 году пошел на фронт, в начале 1943 года был тяжело ранен в челюсть и после госпиталя, получив инвалидность, приехал к родителям, эвакуированным на Алтай.

Его отец, Арнольд Ильич Гессен, впоследствии известный писатель-пушкинист, по смешному совпадению попал, уже после ареста моей мамы, в тот же совхоз, куда ее сослали из Белостока, и в течение двух с лишним лет работал там заместителем директора, хотя, по моим наблюдениям, едва отличал корову от быка.

Борис, которому надоело сидеть в совхозе, приехал на несколько дней в Бийск и остановился у белостокской семьи, знакомой с его родителями по сов-

хозной ссылке. Именно там мы и встретились, почти сразу приглянулись друг другу, и он стал регулярно приезжать, чтобы со мной повидаться (несколько десятков километров, зачастую в лютый мороз, на подножке вагона, потому что билеты без пропуска не продавались). Вместо цветов, которые поклонники традиционно преподносят девушкам, Борис, видя, как мы бедствуем, привозил с собой из совхоза то немного картофеля и овощей, то немного муки и крупы, за что мы ему были бесконечно благодарны. И однажды, не удержавшись, я ему рассказала о своих злоключениях с НКВД. Он очень разволновался и стал говорить, что мне необходимо во что бы то ни стало уехать из Бийска. Я и сама давно пришла к такому выводу, но понятия не имела, как это осуществить.

И вот однажды, когда Борис приехал из совхоза и сидел у меня, явился милиционер. Увидев, что я не одна, он попросил меня выйти с ним в сени. Я послушалась, но следом за мной вышел Борис. Он был в военной гимнастерке, с орденом и несколькими медалями, а также с желтой нашивкой, выдаваемой после тяжелого ранения. Милиционер говорит: «Я вас не звал, мне нужна только она». А Борис в ответ: «У нас нет тайн друг от друга. Я хочу знать, в чем дело». — «А кем вы ей приходитеесь?» — «Я ее муж». (Тут я должна отметить, что о браке между нами еще вообще не было разговора.) Милиционер растерялся и сказал: «Тогда подождите здесь, никуда не уходите. Я скоро вернусь». Он ушел и не вернулся ни в тот день, ни потом, хотя я прожила в Бийске еще несколько долгих месяцев. Надо сказать, что со стороны Бориса это был поистине героический поступок, акт высокого гражданского мужества. Ибо, как я не раз потом убеждалась, он испытывал, подобно большинству советских граждан, особенно интеллигентов, патологический страх перед органами власти. Очевидно, он и впрямь был в меня сильно влюблен.

После встречи с милиционером Борис заявил, что нам необходимо пожениться, поскольку, как он шутя объяснил, совесть коммуниста (в партию, как почти все солдаты, он вступил на фронте, написав заявление о приеме перед боем) не позволяет ему обманывать родную власть. Я согласилась без колебаний. К тому времени мы уже знали, что евреи, оставшиеся на захваченных немцами территориях, погибли почти все, и на встречу с Исаем я не надеялась. Борис мне нравился, да к тому же я была глубоко тронута его поведением. Возражения были у моей мамы, которая всячески отговаривала меня от этого брака, хотя и понимала, что это для меня единственный способ вырваться из Бийска. У нее не было возражений лично против Бори-

са, просто она была убеждена, что союз с человеком, рожденным в СССР, повлияет на всю мою дальнейшую жизнь, что я не смогу вернуться в Польшу. Ей не удалось меня убедить, а потом, увы, оказалось, что она была права.

Уже во время войны, в эвакуации в Сибири, в городе Бийске на Алтае, я встретила одного из самых богатых белостокских фабрикантов Зильберфенига с семьей и узнала об их злоключениях. Они своевременно подались из Белостока в Вильно, обзавелись японскими паспортами и сели в поезд, направлявшийся во Владивосток. Их было пятеро — глава семьи, его жена, два сына-студента и десятилетняя дочка. Но вдруг в Минске, в привокзальном ресторане, Зильберфениг увидел и узнал бывший рабочий его текстильной фабрики, довоенный подпольный коммунист. Он, разумеется, тут же доложил кому следует, что вот, прикидывается японским гражданином его недавний эксплуататор из Белостока. Прямо в Минске всю семью сняли с поезда, взрослых арестовали, а девочку по просьбе родителей отправили обратно к родственникам в Белосток, где она потом погибла в гетто. Остальные получили сроки и попали в разные лагеря. Освобожденные в начале Отечественной войны по амнистии для бывших польских граждан, объявленной на основе соглашения с эмигрантским польским правительством в Лондоне, они все собрались в Бийске, узнав, что там живут многие сосланные белосточане. Мама мне рассказывала, что, когда первым там появился глава семьи, тощий, оборванный, без гроша за душой, все наши земляки буквально плакали от жалости (он был в Белостоке известной фигурой) и собирали для него одежду и деньги. Впрочем, в полном соответствии с поговоркой, что, пока жирный исхудает, из худого дух ворон, Зильберфениг стал спустя некоторое время богачом также и в Бийске. У него были, как оказалось, деньги в нескольких швейцарских банках, и его уполномоченные начали ему оттуда присылать разные товары, главным образом текстиль, которыми он успешно торговал. Он не был скупым и часто помогал нуждающимся белосточанам. Нам с мамой он тоже оказывал внимание, тем более что до войны был хорошо знаком с моим отцом. Правда, он к нам охладил, когда ему показало, что его младший сын Янек начал за мной ухаживать. Он даже провел с мамой назидательную беседу, объяснив ей, что такой бесприданнице, как я, не место в их миллионерской семье. После войны они все через Польшу уехали в Австралию, где, как я полагаю, оба парня, Янек и Зигмунт, нашли себе подходящих невест». ■